

Оглавление

Введение. Запрограммированные на заботу	9
Глава 1. Сплочение ради выживания.....	31
Глава 2. Привязанность.....	61
Глава 3. Обучение и социальные навыки	93
Глава 4. Нормы и ценности	125
Глава 5. Вот такой я человек.....	143
Глава 6. Совесть и ее аномалии.....	161
Глава 7. При чем тут любовь?	189
Глава 8. Практическая сторона.....	227
Благодарности.....	243
Примечания	247
Предметно-именной указатель	271

ВВЕДЕНИЕ

Запрограммированные на заботу

Я не могу и не стану ни от чего отречься, ибо идти против совести несправедливо и опасно. На этом я стою и не могу иначе, и да поможет мне Бог! Аминь.

МАРТИН ЛЮТЕР

Стоянка Ханьяни — это селение индейцев дене: около десятка бревенчатых избушек, приткнувшихся в лесу на берегу реки Наханни в Арктической Канаде¹. Я стою на взлетно-посадочной полосе, дожидаясь одномоторного «Бивера», который заберет меня в Форт-Симпсон. Ожидание, видимо, затянется, потому что явились «конники», конвоирующие арестованного, а у них преимущественное право на вылет². Арестованный — молодой парень лет двадцати двух. Тихо-мирно сидит в наручниках. Слегка смущен, но в целом держится со спокойным достоинством. Что натворил? Неизвестно. От конвоиров никаких намеков: ни словом, ни жестом. Однако предположить я могу, кое-что в здешней жизни понимаю. Возможно, драка. Не исключено, что убийство. Двое конных полицейских и наручники — значит, дело серьезное.

Для арестованного эти края — дом родной, он всегда сумеет прокормиться и найти пристанище. Если для меня достижение — поставить палатку под пронизывающим ветром,

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

то этот дене будто книгу читает и реку, и лес. Наверняка добыл не одного лося и не раз ходил на медведя — навыки для меня запредельные. Он знает, как пережить лютую зиму, которая длится по восемь месяцев. Я не знакома с ним, я понятия не имею, за что его арестовали, и тем не менее невольно принимаюсь придумывать для него историю со счастливым концом, в которой его не отправят в тюрьму и не запрут в четырех стенах, лишив реки, леса с лосями, друзей и близких.

Моя совесть отзывается болью, когда я вспоминаю, чем обернулся для народа дене «контакт с цивилизацией». Некогда многолюдные селения выкосила оспа, уничтожая вековой уклад, наработанные навыки выживания и общинные устои. Свои охотничьи уголья дене «раздарили» алчным захватчикам, которые спаивали старейшин огненной водой и глумились над их умениями. Во имя этой спесивой «цивилизации» детей дене отнимали у любящих родителей и увозили в интернаты за сотни миль от дома, где, разлучив с братьями и сестрами, били за разговоры на родном языке, единственном, который они знали³. Вспоминается Джексон Бирди, блестящий художник, отлученный в детстве от любящей семьи. Повзрослев, он чувствовал себя лишним и неприкаянным, навсегда оторванным от племени кри, но так и не принятым белыми. В 1970 году его произведения демонстрировались в Национальной галерее Канады в Оттаве, однако в день открытия выставки охранник не пустил его в здание⁴.

А что, если взять и подойти к этому дене, завязать беседу? Нет уж, лучше не соваться. Какая самонадеянность, снисходительность, только чтобы потешить себя. С одной стороны, парень сочтет, что должен оправдываться и объясняться. С другой — растерявшимся полицейским придется решать, не спровадить ли приставучую дамочку обратно в бурьян, где она сидела до этого. Как я ни отговариваю себя, не могу отделаться от знакомого неприятного ощущения под ложечкой. «Сделай что-нибудь!» Но что тут сделаешь...

Будь я какой-нибудь ящерицей-одиночкой, меня бы это все не волновало. Никаких душевных терзаний, никакой совети. Добыть корм, поесть, спариться, отложить яйца — и все на этом. Другие ящерицы не моя забота, даже те, что вылупятся из отложенных мною яиц. Главное — удовлетворить собственные потребности, а на чужие плевать. Но я млекопитающее, поэтому у меня, как и у остальных млекопитающих, социальный мозг. Я запрограммирована беспокоиться и переживать, особенно за тех, к кому привязана.

Стараниями моего социального мозга у меня формируется привязанность к родным и друзьям. А значит, мне не все равно, как у них дела. Я способна на эмпатию, на сочувствие, а иногда и на праведный гнев. Меня можно мотивировать на сотрудничество, даже если оно требует от меня поступиться собственными интересами. Кроме того, мозг усваивает традиции моего «рода и племени». Соответственно, у меня может возникнуть побуждение сказать правду там, где выгоднее было бы соврать. Я могу испытывать желание наказать тех, кто мучает и притесняет слабых или облапошивает доверчивых. У меня есть совесть. Или, как я иногда это формулирую, мой мозг следит за тем, чтобы у меня была совесть.

Некоторые глубочайшие идеи о человеческой нравственности восходят к идеям греческих философов V века до н. э. — Платона, Аристотеля и неподражаемого Сократа. Интересно, что у древних греков не было отдельного слова, эквивалентного нашему слову *совесть*. Впрочем, им не нужны были слова, чтобы понимать силу нравственных чувств. Слово «совесть» придумали позже, это были римляне. На латыни оно звучало как *conscientia* и складывалось из *con* — с, вместе и *scientia* — знание⁵. Таким образом, в широком смысле *conscientia* можно трактовать как «знание общественных норм». Однако римские философы, как и Сократ, понимали, что общественным нормам совесть подчиняется не всегда,

поскольку иногда наше нравственное чувство требует опровержения этих самых норм.

Известный пример — Реформация, инициированная священником и богословом Мартином Лютером (1483–1546) в 1517 году, когда, протестуя против тогдашних церковных порядков, он прибил к дверям замковой церкви свои обличительные тезисы. Господствовавшие догмы, особенно те, что позволяли церковникам обирать паству и внушать ей покорность властям, Лютер считал порочными. Употребляя в своих воззваниях слово *совесть*, он подразумевал более широкое, не связанное догматическими рамками представление о том, что хорошо, а что плохо с нравственной точки зрения. Однако такая трактовка совести вынуждает нас задаться вопросом, чем же, если не общественными нормами, должен руководствоваться человек, отличая добро от зла.

Сократа (469–399 до н. э.) всегда интересовало, как мы приходим к нашим нравственным убеждениям. Особенно тревожила философа наша склонность судить о том, что хорошо, а что плохо, даже когда на то нет никаких оснований. Что же касается его рассуждений о морали, там, где мы употребили бы слово *совесть*, он говорил о *внутреннем голосе*. Неизменно самокритичный, Сократ объяснял, что не всегда может положиться на свой внутренний голос и иногда тот его дезориентирует. Признавая ненадежность внутреннего голоса, Сократ приходил к выводу, что для обретения нравственной мудрости необходимо осознать собственное нравственное невежество и несовершенство. Мнимая мудрость, предостерегал он, принимает вид категоричных суждений. Может быть, уверенность в собственных нравственных принципах и утешительна, однако она ослепляет нас, и мы не видим, что действуем во вред.

Сократ не имеет в виду, что внутренний голос говорит лишь на морально-этические темы. Да, этот голос способен взвешивать доводы разных сторон, когда идет речь

о нравственной проблеме, однако он может болтать о куче разных вещей: о теоретических и практических вопросах, о чем-то умном и всяких глупостях. О финансах, например, мой внутренний голос обычно высказывается тоном моего экономного отца: «Масло, деточка, можешь и сама заменить, зачем кому-то за это деньги отдавать?» Когда я работаю над текстами, он копирует интонации нашей учительницы грамматики, миссис Ланди, исправляющей мне ошибку в согласовании. Часто он звучит так, будто я разговариваю сама с собой: «Отнесись к этому с юмором!», или, как в те годы, когда философы громили меня за изучение мозга: «Переплюнь мерзавцев!»

Иногда моя совесть дает о себе знать не как голос, а просто как неуютное ощущение, навязчивое желание что-то сделать или чего-то, наоборот, избежать. Порой это мысленная картинка, упорно возникающая перед глазами, — визуальный аналог некстати привязавшейся мелодии, от которой никак не отделаться. Как с грустью признает Пол Стром, «совести привычнее грызть, терзать, колоть и мучить, чем утлеть и смягчать»⁶.

Существует ли у слова *совесть* четкое определение? Обычно оно нам не требуется, как нет нужды в определении для слова *овощ* или *друг*. Но поскольку понятие совести неодинаково в разных культурах или субкультурах и в разные времена, предлагаю для наших целей такую рабочую формулировку: совесть — это суждение индивида о том, что хорошо, а что плохо с нравственной точки зрения, как правило (но не всегда) отражающее нормы группы, к которой индивид себя причисляет. Кроме того, вердикт совести нельзя назвать целиком и полностью когнитивным, он включает две взаимозависимые составляющие: движущие нами *чувства* и оценочное *суждение*, трансформирующее порыв в конкретные действия.

Для ребенка усвоить слово *совесть* — совсем не то же самое, что усвоить слово *собака*. С собакой просто: можно

показывать всяческих пуделей, хаски и корги, и ребенку останется только обобщить. С совестью иначе, это даже сложнее, чем разобраться, какое внутреннее ощущение можно назвать жадой. *Совесть* не просто более абстрактна, она имеет еще и социальное измерение: знание общественных норм. У ребенка, особенно поначалу, это знание находится в зачаточном состоянии. Кроме того, усвоение принятых в обществе порядков зачастую происходит не явно, а исподволь, поскольку обычно мы просто копируем некое поведение, не отдавая себе в этом отчета.

Подрастая, дети начинают понимать, что социальный контекст неоднозначен, даже когда общественные нормы, казалось бы, более или менее ясны. Как выясняется, иногда нужно похвалить человека, даже если пел он неважно, потому что лучше сказать доброе слово, чем неприятную правду. А иногда сосед обижается, когда из самых благих побуждений предлагаешь помочь ему сложить поленницу, потому что воспринимает это как намек на свою немощь. Кому-то родители запрещают сквернословить, другие не обращают внимания. Социальная жизнь полна разных нюансов и условностей: что можно говорить, а что нельзя, и как лучше сказать то, что в нормальных обстоятельствах говорить не следует.

Когда нам приходит в голову заговорить о *совести* (будь то внутренний голос или внешний)? В основном когда мы оказываемся в этическом тупике: например, закон требует одного, а другие важные ценности, скажем, верность или справедливость — совершенно противоположного. Главный герой фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» то и дело нарушает закон, обманывая своих приятелей-нацистов на счет евреев, работающих на его фабрике в оккупированной Польше. От догадавшихся, откуда Шиндлер набирает своих работников, он откупается взятками. В нормальных обстоятельствах нарушение закона — не говоря уже о лжи

и подкупе — считается неприемлемым, но иногда совесть требует действовать именно так.

Мы можем прислушаться к своей совести, когда у нас есть возможность завоевать победу нечестным путем: скажем, питчер (подающий) в бейсболе прикидывает, не запустить ли быстрый мяч звездному игроку в голову, чтобы ударом вывести его из игры. Или когда возникает искушение пожертвовать честностью ради лояльности — например, рядовой сотрудник обманом прикрывает начальника, подозреваемого в тайном сговоре. Так, в 1975 году советник Белого дома Джон Эрлихман лгал из давней преданности Ричарду Никсону, о чем сильно пожалел, когда его признали виновным в даче ложных показаний.

Любовь к родным может противоречить долгу, требующему заявить о совершенном ими преступлении. Вспомним, например, душевные терзания Дэвида Качинского, когда он обнаружил, что террорист Унабомбер, присылавший ученым смертельные послышки, — его брат Тед. Как быть? Выдать его ФБР или держат язык за зубами, покрывая близкого? К счастью, Дэвид выбрал первое.

Иногда мы разрываемся между преданностью друзьям и законопослушанием, подозревая, что закон в корне ошибочен. Когда в 1952 году Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности требовала от сценаристки Лилян Хеллман назвать фамилии сторонников коммунизма в Голливуде, та твердо заявляла: «Я не пойду на сделку с совестью ради сиюминутных веяний»⁷, хотя прекрасно знала, как дорого обойдется ей это упорство. Так и вышло. Ее занесли в черные списки, и до конца десятилетия она сидела без работы. Многим родственникам тяжелобольных доводилось испытывать сомнения, решая, вынуждать ли человека мучиться дальше или позволить ему мирно уйти из жизни.

В традиционных дискуссиях о том, чего требует от нас совесть, часто все начинается с конфликта между вариантами

выбора. Во время урагана «Катрина» в 2005 году персоналу Мемориального медицинского центра в Новом Орлеане пришлось принимать мучительные и страшные решения. Больница расположена на метр ниже уровня моря. Из-за урагана в здании отключилось электричество, вода стремительно прибывала, генераторы отказали, помощь извне отсутствовала. Эвакуировать самых тяжелых уже не было возможности. Персоналу пришлось расставлять приоритеты и выбирать, кому из пациентов оказывать помощь. В результате погибло около 45 больных, часть из которых врачам, возможно, удалось бы спасти, если бы не вмешался ураган⁸. Иногда, как выясняется, правильного решения не существует — можно только выбрать меньшее из зол.

Подобные конфликты ценностей неотделимы от социальной жизни любого из нас. Иногда выбор обусловлен тем, что, по нашим представлениям, мы способны вынести. И тут наши ожидания могут совпадать, а могут и не совпадать с *моральной правотой*, с точки зрения норм, принятых в нашем сообществе.

Очень заманчиво надеяться, что совесть всегда исходит из универсальной нравственной истины, поэтому достаточно прислушаться к ней, и наш поступок будет морально оправдан. Однако на самом деле придется признать прискорбный факт: даже те, кто поступает по совести, нередко расходятся в ее велениях, а значит, и решения принимают разные. Слишком часто голоса совести у людей звучат не в лад — даже у родных братьев или сестер, соседей, супругов.

Кто-то считает, что изучение расовых особенностей важно для развития медицины, а другого такой подход возмущает как расистский. Одному кажется допустимым прерывать беременность, наступившую в результате изнасилования, другой же полагает, что у аборта не может быть оправданий. Иногда голос совести спорит сам с собой. Сообщить ли потенциальному соседу, собравшемуся покупать дом, об известном

мне дефекте в его конструкции или лучше промолчать? Должна ли я вмешиваться в чужие дела? Почему совесть не может ответить мне на эти вопросы четко и ясно?

Даже вера в общего Бога не гарантирует единства нравственных суждений. Как отмечал Авраам Линкольн, северяне и южане читали одну и ту же Библию и поклонялись одному и тому же Богу, однако совесть южан диктовала им прямо противоположное тому, что делали по велению совести северяне.

Мартин Лютер был убежден, что нравственные истины в нашем сознании запечатлеваются Святой Дух. Не знающий страха и сомнений реформатор заявлял, что слово Духа Святого «тверже и крепче, чем сама жизнь и всякий опыт»⁹. Однако будем реалистами: у самых набожных людей моральные суждения порой оказываются прямо противоположными. Каждая сторона одинаково категорична, но достойна ли и та и другая Божьего благословения? Разумеется, нет. Нелишне напомнить и о множестве мировых религий, между которыми нередко разногласия. Буддисты отличаются от христиан, а те, в свою очередь, от конфуцианцев. Среди христиан тоже не наблюдается единомыслия. Так что, увы, искренность убеждения не гарантирует его безупречности с точки зрения морали. Как напоминает нам Сократ, иллюзия собственной правоты — признак нашего несовершенства и ненадежности совести.

Непогрешимость совести, на которую рассчитывал Лютер, — как ни печально, всего лишь иллюзия, пусть и придающая нам сил и отваги в стремлении исполнить то, к чему она нас призывает. Когда речь идет о Мартине Лютере или аболиционисте Джоне Брауне (1800–1859), непоколебимость убеждений вызывает восхищение. Но в случае Ленина, который недрогнувшей рукой развязал красный террор в послереволюционной России (1918), или сторонников джихада, взрывающих самолеты и берущих в заложники школьниц, ложные

идеи разрушительны. Истовое служение моральным принципам, может, и хорошее дело, но лишь когда оно определенно преследует добрые цели. «А когда оно преследует их?» — непременно спросил бы Сократ. Отвечая на этот вопрос, мы неизбежно будем ходить по кругу.

Можно сколько угодно желать определенности, однако приходится жить, стремясь делать все, что от нас зависит. Даже если я выдумаю теорию, подтверждающую, что *моя* уверенность, в отличие от вашей, опирается на универсальную нравственную истину, действительность эту теорию очень скоро опрокинет. Вот как лаконично охарактеризовал положение дел французский философ эпохи Просвещения Вольтер (1694–1778): «Сомнение неприятно, но состояние уверенности абсурдно»¹⁰. Вольтер, конечно, прав, но выбирать мы так или иначе вынуждены, и бездействие может оказаться наихудшим вариантом. Знать, что я делаю все возможное, — слабое утешение, но мой внутренний сократический голос велит мне довольствоваться этим.

Нам постоянно внушают, что наш основополагающий моральный долг — поступать по совести. Продолжать ли нам внушать то же самое детям? Может быть, да. Но может быть, и нет. Совесть не всегда надежный советчик, потому что, даже когда она вещает с полной уверенностью, результат может оказаться плачевным. Фанатичная преданность идее способна побудить человека взорвать театр или распылить нервно-паралитический газ в поезде метро. Когда Генри Дэвид Торо призывает поступать по совести, кажется, что нет ничего проще и понятнее, однако, если быть честными, придется признать: на самом деле последовать его рекомендации — сложнее некуда.

Подчинение голоса совести, как правило, не расценивается судом как смягчающее обстоятельство. В частности, Эдвард Сноуден, сотрудник ЦРУ, обнародовавший секретные материалы, утверждал, что действовал по велению совести,

которая не позволяла ему спокойно отнестись к правительственной программе массовой слежки. И все же Сноуден признали виновным в нарушении закона о шпионаже 1917 года. Если он сейчас вернется в Штаты, неизбежно угодит за решетку. Однако предсказать, какой вердикт вынесут присяжные, если Сноуден вернется не сейчас, а, скажем, лет через пятнадцать, уже трудно. И тут мы переходим к следующему важному пункту: мы знаем, что наша совесть способна со временем менять свои оценки. На протяжении жизни мы успеваем не раз поменять взгляд на одну и ту же социальную проблему, например, легализовать ли продажу и употребление марихуаны.

Всегда ли нам удастся оправдать свой проступок в собственных глазах и договориться с совестью? Временами удастся. Как уживаются со своей совестью производители табачных изделий, когда, отмахнувшись от прекрасно им известных научных доказательств устойчивой связи между курением и раком легких, подкупают политиков, чтобы продолжать рекламировать сигареты? Куда девается совесть священников, пристающих к юным алтарникам? Чем бы совесть ни была, она функционирует совсем не так, как физическая сила вроде земного притяжения, при любых обстоятельствах воздействующая на любой объект одинаково.

Так что да, совесть — понятие растяжимое, и совестливость не мешает нам ошибаться в оценках ситуации, как не мешает уверенности в собственной правоте. Однако, несмотря на всю неразбериху, многие люди в большинстве случаев стараются проявлять справедливость, доброту и честность, особенно по отношению к «своим», то есть представителям собственной семьи, клана, народа. Нам свойственно делиться, сотрудничать и выручать друг друга из беды.

Чем объясняется это сходство в поведении людей? Что происходит в мозге, когда мы считаем своим долгом сказать правду или сообщить о чужих предосудительных

действиях? Откуда берутся муки совести, когда мы сознательно закрываем глаза на правонарушения? Может ли нейронаука объяснить, почему мы сотрудничаем друг с другом — даже с теми, к кому не питаем особой симпатии? Здесь переплетаются две темы, которые я предпочла бы не путать.

Во-первых: способна ли наука определить, какой именно вариант должна выбрать наша совесть при той или иной нравственной дилемме — иными словами, какой выбор этически оправдан? Нет. Наука на это не способна. Хотя располагать фактическими данными при принятии решения полезно. Наука, наряду с другими видами знания, снабжает нас сведениями и фактами, позволяющими точнее просчитать последствия своего поступка. Собирая релевантную информацию, мы снижаем вероятность рано или поздно пожалеть о своем выборе. В поисках подходящего пестицида вы наверняка учтете, что какие-то из предлагаемых средств могут заодно с сорняками погубить и пчел, которые опыляют культурные растения. Решая, вводить ли в школьную программу уроки полового воспитания, мы примем в расчет статистику, подтверждающую, что наличие таких уроков в средних и старших классах снижает число незапланированных подростковых беременностей. Наука способна оценить социальные последствия тех или иных мер. Например, если получение водительских прав по умолчанию приравнять к согласию на предоставление органов для пересадки, то как это повлияет на доступность донорских органов? И все же сама по себе наука не скажет нам, что хорошо, а что плохо.

Второй вопрос относится совсем к другой области: способна ли наука объяснить, что побуждает нас так часто беспокоиться о том, что происходит с другими? Может ли наука рассказать, почему вообще у нас есть совесть, даже если не готова ответить, какие решения наша совесть должна одобрять? Может ли наука прокомментировать, почему совесть

дает вам и мне столь разные подсказки? Здесь, я думаю, ответ будет положительным.

Человек, по признанию Аристотеля, Дарвина и многих других, существо общественное. Будь это иначе, ни о каких моральных устоях не было бы речи. Хорошо, но какие биологические свидетельства подтверждают идею социальной природы человека? Научные исследования в области нейробиологии улучшили наше понимание тех связей в мозге млекопитающих (в том числе человека), которые обеспечивает нам социальность.

В самых общих чертах генетически наш мозг запрограммирован так, что еще в раннем детстве мы испытываем удовольствие от общения с определенной компанией себе подобных и страдаем от разлуки с ними. Мы привязаны к своим родителям, родным и двоюродным братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам. По мере взросления мы заводим друзей и приятелей и привязываемся к ним тоже. Эти привязанности — чрезвычайно важный источник смысла в нашей жизни, и они стимулируют многие проявления социального поведения.

Взрослея и развиваясь, ребенок постепенно усваивает, как устроена общественная жизнь вокруг него. Он начинает понимать, как соблюдать правила игры, работать вместе, прощать обиды. Мы учимся в процессе подражания, посредством проб и ошибок, слушая сказки и песни, осмысливая свой опыт. Мы усваиваем нормы поведения — иногда осознанно, иногда исподволь. Мы приобретаем привычки и навыки, позволяющие ориентироваться в хитросплетениях социального мира, в который попадаем сразу после рождения. Нейробиология постепенно выясняет, что значит для нас усвоение социальных навыков и привычек с точки зрения систем в мозге, которые меняются по мере нашего научения, и генов, которые со своей стороны закрепляют эти изменения в мозге. Наши личные качества, такие как общительность или замкнутость,

вливают и на особенности нашей совести. Как мы увидим в главе 5, моя совесть может вступать в конфликт с вашей в силу глубинных различий между нами.

Наука сама по себе не выносит решений относительно нравственных ценностей. Даже имея на руках все доступные данные и факты, мы все равно вынуждены задаваться вопросами «Как поступить?» и «Как квалифицировать данные, чтобы принять правильное решение?». Разумеется, отдельные ученые как люди со своими представлениями о морали вполне могут иметь собственное мнение о том, что нужно делать. Так, многие ученые, узнав о прямой причинно-следственной связи между вирусом папилломы человека и раком шейки матки, стали пропагандировать вакцинацию женщин против ВПЧ.

Неудивительно, что ученые, выявляющие фактор риска того или иного заболевания, стремятся оповестить общественность и рассказать о способах снижения опасности. История с вирусом папилломы человека лишь один из примеров, но кроме него известно множество других подобных ситуаций, например, когда было обнаружено, что курение резко повышает вероятность развития рака легких или что использование многоразовых шприцев способствует распространению СПИДа, а злоупотребление алкоголем во время беременности негативно влияет на умственные и физические способности будущего ребенка. Во всех этих случаях исследователи действовали не только как ученые, которые делятся с общественностью результатами своих изысканий, но и как ответственные граждане, желающие, чтобы всем нам жилось лучше. К этому их, как и остальных людей, побуждает неравнодушие¹¹.

Принадлежность к науке, безусловно, не гарантирует высоких нравственных принципов¹². Основой всех добродетелей Конфуций (551–479 до н. э.) называл скромность. Часто, но не всегда, для того, чтобы заинтересованные стороны

пришли к соглашению, достаточно просто предоставить факты. Однако порой факты неоднозначны и сами за себя не говорят. А значит, могут возникнуть сомнения — доверять ли доступным сведениям.

Иногда, поскольку не хватает знаний, неопределенность не исчезает, даже если факты доступны. Такое происходит, например, при использовании экспериментальных методов лечения рака, когда на результаты клинических испытаний полагаться еще нельзя. Смертельно больные считают, что у них должно быть право воспользоваться даже неопробованными средствами и методами, тогда как исследователи беспокоятся, что неблагоприятный исход создаст препятствия для дальнейшей работы в данном направлении. А бывает, что базовые ценности конфликтуют, даже когда с фактами все предельно ясно. Хотя данные о вырубке девственных лесов никаких разногласий не вызывают, очень трудно прийти к единому мнению насчет того, что более этично — сохранять такие леса или заготавливать как возобновляемый ресурс. Можно единодушно признавать, что человек мучается от неизлечимой болезни, но не соглашаться с тем, что возможность покончить с собой с помощью врача для него благо.

Как правило, к тем, кто провозглашает свое превосходство по части моральных суждений или считает себя единственным носителем нравственной истины, следует относиться критически. Нередко подобное позиционирование приносит немалую выгоду — и деньги, и секс, и власть, и высокую самооценку. А остальные, кто молчаливо соглашается с авторитарными заявками, легко становятся жертвами эксплуатации. Множество аферистов претендуют на роль гуру, чтобы диктовать остальным, как должна функционировать их совесть. Они могут казаться достойными доверия, будучи весьма харизматичными, набожными или твердыми в своих убеждениях. Эту тему мы рассмотрим подробнее в главе 8. Но и здесь уместно еще раз вспомнить Конфуция: основа

всех добродетелей — скромность. Поэтому тот, кто кичится своим нравственным совершенством, вызывает у нас обоснованные подозрения.

Сократ знал, что за притязаниями на моральную непогрешимость обычно скрываются манипулятивные намерения. Он задавал такие вопросы афинским авторитетам, считавшим свои суждения единственно истинными, что ставил их в неловкое положение. Ответы оппонентов на вежливые, однако настойчивые расспросы Сократа обнаруживали, что за их самонадеянностью ничего не стоит. Разумеется, это вызывало недовольство власть имущих.

Афинская знать обвинила Сократа в том, что он смущает умы молодежи, внушая ей непочтительность к властям, и суд приговорил его к смерти. Как предполагалось казнить смутьяна?²³ Сократ должен был выпить яд цикуты. Ошеломленные смертным приговором преданные ученики Сократа умоляли его бежать. Он легко мог бы покинуть Афины, подкупив кого нужно: суммы, которые обычно давались в таких случаях, его бы не разорили. Дискуссии о том, почему он отказался бежать, не утихают до сих пор — все пытаются поставить себя на его место и взвесить варианты.

Может быть, мы зря все усложняем и Сократ, как и говорил, просто сделал то, что считал правильным, а нам незачем мудрить, выискивая скрытые мотивы и экзистенциальные дилеммы. Однако, читая у Платона о том, как умирал Сократ — как немели его ноги, а затем и остальное тело под действием яда, — мы не можем не уважать выбор философа. И хотя от тех событий нас отделяет 2500 лет, история казни Сократа и предшествовавший ей суд продолжают вызывать у нас ощущение злободневности, имеющей отношение к нашей сегодняшней жизни.

Нейронаука и психология совместно исследуют, как в мозге формируются ценности, в частности нравственные, и как они определяют наши решения. Если считать,

что совесть подразумевает усвоение общественных норм, нельзя не задаться вопросом о процессах, объясняющих это усвоение. Еще один неизбежный вопрос: как получается, что общественная норма начинает меняться, или как человек может прийти к мысли, что общепринятая практика (например, бинтование ступней девочкам, чтобы ножка оставалась маленькой) аморальна?¹⁴ Как все это происходило, теперь уже можно представить, хотя и в достаточно общих чертах. Все не так просто. Однако вырисовывается история, которая кажется последовательной, биологически правдоподобной и доступной для изложения. Эта история изменит наши представления о морали и о самих себе как носителях нравственности.

Тут нужна оговорка. Хотя нейронаука способна объяснить агрессию родителей, защищающих свое потомство от хищников, агрессия одной социальной группы по отношению к другой плохо поддается объяснению на уровне процессов в мозге. Как показывают динамические наблюдения, мощной движущей силой подобного поведения может выступать идеология, даже если шансы на успех агрессии ничтожны¹⁵. Существующая на этот счет циничная гипотеза гласит, что идеологическое оправдание агрессии против «чужих» — это в основе своей способ откупиться от собственной совести, чтобы дать волю упоительному хищническому инстинкту. Особенно склонны к такой рационализации молодые мужчины. В пользу этой гипотезы свидетельствует и типичный язык, дегуманизирующий противника, когда в одной группе разжигается ненависть и нетерпимость к другой¹⁶. В моральном отношении гораздо легче убить грязное животное, чем такого же человека, как ты сам.

Опровергнет нейробиология эту циничную концепцию или подтвердит, пока неизвестно. Эти данные очень важны для нас, однако ждать их, возможно, придется долго. Скучность сведений, которыми располагает нейронаука,

объясняется тем, что получить нейробиологические данные от людей, участвующих в кровопролитных стычках, происходящих между социальными группами, по очевидным причинам чрезвычайно непросто. Маловероятно, что в разгар смертельной схватки боец согласится прервать ее ради МРТ. С лабораторными же экспериментами, в ходе которых можно разжечь вражду между группами подопытных студентов, чтобы зафиксировать и измерить нужные характеристики, возникают трудности иного рода. Такие эксперименты этически неприемлемы. А как насчет грызунов? Найти модели человеческих военных действий в животном мире практически невозможно, даже если принять во внимание нередкие межгрупповые конфликты у шимпанзе. В этом контексте надежные данные о мозге были бы бесценны, однако на данный момент получить их не представляется возможным.

Прежде чем продолжить, обозначу один важный момент, касающийся определений, чтобы не тратить на это время и силы в дальнейшем. Как утверждают психолингвисты, наши повседневные понятия имеют радиальную структуру. Это значит, что центральное ядро понятия образовано примерами, которые, по общему мнению, к нему относятся, а вокруг располагаются похожие примеры, однако не все признают, что они подпадают под это понятие¹⁷. Чем дальше от центра, тем меньше единодушия по поводу принадлежности примеров к понятию, поэтому его границы размыты и нечетки. Типичные понятия такого рода: *овощ*, *друг*, *честный*, *дом*, *река*, *сорняк*, *умный* и многие другие. Ни у одного из них нет точного определения, хотя для каждого найдется словарная статья, которая вполне применима к случаям, образующим ядро понятия.

Самое интересное, что при всей расплывчатости (согласно аналитическим данным) таких понятий, как *овощ*, *друг*

или *дом*, нам в основном удастся благополучно договариваться. Обычно размытость понятийных границ ни на что не влияет. Как показывает анализ, морковь попадает в центральные примеры понятия «овощ», петрушка — на самые дальние подступы, а помидоры и тыква оказываются где-то посередине. Отсутствие точности не катастрофично для коммуникации. Мне лично ни разу не доводилось затевать в супермаркете спор, выясняя, по праву ли петрушка продается в овощном отделе. Ни разу. И это хорошо, потому что ответа на вопрос, действительно ли пограничные случаи укладываются в категорию, попросту не существует. Более того, психолингвисты отмечают, что на самом деле попытки выработать четкое определение для понятий вроде *овощ* или *друг* не только не вносят никакой ясности, но, напротив, ведут к бессмысленным препирательствам, а люди продолжают говорить так, как привыкли. Размытость границ обычно не проблема, и возможно, в этом есть даже преимущество, создающее почву для языковых перемен, поскольку говорящие могут постепенно расширять значение слова, используя его по-новому, но эффективно.

В то же время в юриспруденции ключевые понятия принято формулировать достаточно точно, например минимально допустимый возраст получения водительских прав или *управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения* (для большинства американских штатов это означает, что содержание алкоголя в крови составляет 0,8 промилле или выше). Кому-то из подростков, безусловно, и в четырнадцать лет хватит сноровки и ответственности, чтобы водить машину, а кого-то и в двадцать два нельзя пускать за руль, но политика должна быть единой, поэтому в большинстве штатов права можно получить с шестнадцати.

Тем не менее даже в отточенных формулировках законодательных актов неизбежна неоднозначность. В частности, закон определяет *преступную небрежность* как действия,

совершенные по неосторожности. Однако точного определения *разумной осторожности* нет. Несмотря на расплывчатость, закон обычно работает, поскольку большинство носителей языка в целом понимают, что имеется в виду. Соответственно, *моральная правота* как понятие с четким центром и расплывчатыми границами ближе к *разумной осторожности*, чем к точной юридической формулировке *состояния алкогольного опьянения*.

В науке тоже стараются давать понятиям (таким, например, как *планета* или *белок*) как можно более точные определения. Однако и ученым, как правило, приходится довольствоваться состряпанными на скорую руку характеристиками, пока не накопится достаточно данных, чтобы уточнить формулировку. Хороший пример такого понятия — *ген*, который определялся в общих чертах как «носитель наследственной информации о том или ином свойстве», пока в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик не открыли структуру ДНК. В течение последующих семидесяти пяти лет значение термина *ген* уточнялось по мере того, как молекулярная биология совершала все новые и новые открытия, касающиеся кодирования информации молекулой ДНК и использования этой информации при синтезе белка. До 1953 года сформулировать определение гена через ДНК было невозможно, поскольку о существовании ДНК просто никто не подозревал. Точно так же до середины XVIII века никто не мог точно сформулировать, что такое *горение* (тогда еще неизвестного как «процесс быстрого окисления»), поскольку никто не знал о существовании такого элемента, как кислород, и такого процесса, как окисление. И все же, как видим, это совершенно не мешало людям говорить об огне и изучать его. Определения меняются по мере их уточнения благодаря научным открытиям. Научные определения, как правило, возникают на более поздних этапах исследований, поначалу они не нужны и даже невозможны.